

Федор Михайлович Достоевский

Честный вор



Федор Достоевский

Честный вор

«Public Domain»

1860

Достоевский Ф. М.

Честный вор / Ф. М. Достоевский — «Public Domain», 1860

«Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор. До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слышал от нее...»

Содержание

Федор Михайлович Достоевский

Честный вор

Из записок неизвестного

Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор.

До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слыхал от нее.

– Вот я, сударь, к вам, – начала она вдруг, – вы бы отдали внаем каморку.

– Какую каморку?

– Да вот что подле кухни. Известно какую.

– Зачем?

– Зачем! затем, что пускают же люди жильцов. Известно зачем.

– Да кто ее наймет?

– Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто.

– Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя; тесно будет. Кому ж там жить?

– Зачем там жить! Только бы спать где было; а он на окне будет жить.

– На каком окне?

– Известно на каком, будто не знаете! На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул; да и стол есть; всё есть.

– Кто ж он такой?

– Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего три рубля серебром в месяц брать...

Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, – одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился.

– Есть ли по крайней мере у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь?

– Как же! известно есть. Хороший, бывалый человек; три рубля обещался давать.

На другой же день в моей скромной, холостой квартире появился новый жилец; но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого; выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но десять, пятнадцать лет, а может быть, и более такого же уединения, с такой же Аграфеной, в той же холостой квартире, – конечно, довольно бесцветная перспектива! И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей – благодать небесная!

Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории,

случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй. Она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ.

Однажды я остался в квартире один: и Астафий и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел, и, показалось мне, чужой; я вышел: действительно, в передней стоял чужой человек, малый невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное, осеннее время.

– Чего тебе?

– Чиновника Александрова; здесь живет?

– Такого нет, братец; прощай.

– Как же дворник сказал, что здесь, – проговорил посетитель, осторожно ретируясь к дверям.

– Убирайся, убирайся, братец; пошел.

На другой день после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь.

Вчерашний господин, на моих же глазах, преспокойно снял с вешалки мою бекешь,¹ сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. Аграфена все время смотрела на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты бекешки. Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись, с пустыми руками. Сгинул да пропал человек!

– Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась! А то бы совсем посадил на мель, мошенник!

Но Астафия Ивановича все это так поразило, что я даже позабыл о покраже, на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которою был занят, поминутно начинал сызнова рассказывать дело, каким это образом всё случилось, как он стоял, как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и как это все устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу; потом опять бросал всё, и я видел, как, наконец, пошел он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своем дворе таким делам быть попускает. Потом воротился и Аграфену начал бранить. Потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя, что вот как это всё дело случилось, как он тут стоял, а я там и как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и т. д. Одним словом, Астафий Иванович хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун.

– Одурачили нас с тобой, Астафий Иваныч! – сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим.

– Одурачили, сударь! Да просто вчуже досадно, зло пробирает, хоть и не моя одежда пропала. И, по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть задаром берет, а этот твой труд, пот, за него пролитой, время твое у тебя крадет... Гадость, тьфу! говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко?

– Да, оно правда, Астафий Иваныч; уж лучше стори вещь, а вору уступить досадно, не хочется.

– Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору розь... А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора.

– Как на честного! Да какой же вор честный, Астафий Иваныч?

– Оно, сударь, правда! Какой же вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его.

– А как это было, Астафий Иваныч?

¹ Бекешь (бекеша) – теплое пальто в талию со сборками (или вообще старинное пальто).

– Да было, сударь, тому назад года два. Пришлось мне тогда без малого год быть без места, а когда еще доживал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пьянчужка такой, потаскун, тунеядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный! ходил он уж бог знает в чем! Иной раз так думаешь, есть ли рубашка у него под шинелью; всё, что ни заведется, проплет. Да не буян; характером смирен, такой ласковый, добрый, и не просит, всё совестится: ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесешь. Ну, так-то я с ним и сошелся, то есть он ко мне привязался... мне-то все равно. И какой был человек! Как собачонка привяжется, ты туда – и он за тобой; а всего один раз только виделись, мозгляк такой! Сначалапусти его переночевать – ну, пустил; вижу, и паспорт в порядке, человек ничего! Потом, на другой день, тожепусти его ночевать, а там и на третий пришел, целый день на окне просидел; тоже ночевать остался. Ну, думаю, навязался ж он на меня: и пои и корми его, да еще ночевать пускай, – вот бедному человеку, да еще нахлебник на шею садится. А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал, привязался к нему, вместе всё пили; да тот спился и умер с какого-то горя. А этого звали Емелей, Емельяном Ильичом. Думаю, думаю: как мне с ним быть? прогнать его – совестно, жалко: такой жалкий, пропащий человек, что и господи! И бессловесный такой, не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. То есть вот как пьянство человека испортит! Думаю про себя: как скажу я ему; ступай-ка ты, Емельянушка, вон; нечего тебе делать у меня; не к тому попал; самому скоро перекусить будет нечем, как же мне держать тебя на своих харчах? Думаю, сижу, что он сделает, как я такое скажу ему? Ну, и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услышал мою речь, как бы долго сидел и не понимал ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шинелешку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не видать, – деликатный был человек! как бы отворил потом дверь да и вышел бы с слезинкой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку... жалко стало! А тут потом, думаю, мне-то самому каково! Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать; вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну-с, сударь, съехали мы; тогда еще Александр Филимонович, барин (теперь покойник, царство ему небесное), говорят: очень остаюсь тобою доволен, Астафий, воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал, – добрый был барин, да умер в том же году. Ну, как проводили мы их, взял я свое добро, деньжонок кой-каких было, думаю, попокоюсь себе, да и съехал я к одной старушонке, угол занял у ней. А у ней и всего-то один угол свободный был. Тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила, пенсион² получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельянушка, родной человек, не найдешь ты меня! Что ж, сударь, думаете? Воротился я повечеру (к знакомому человеку повидаться ходил) и первого вижу Емелю, сидит себе у меня на сундуке, и клетчатый узелок подле него, сидит в шинелишке, меня поджидает... да от скуки еще книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашел-таки! И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать, зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю: «Принес ли паспорт, Емеля?»

Я тут, сударь, сел да начал раздумывать: что ж он, скитающийся человек, много ль помехи мне сделает? И вышло, по раздумье, что немногочего будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать; да повечерять тоже лучку с квасом да хлебца, если хлебца захочет. А наверху сцапав какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко сыты. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест: ему бы только настоячки да зелена винца. Доконает он меня на питейном, подумал я, да тут же, сударь, и другое в голову пришло,

² Пенсия (фр. pension) – пенсия, денежное содержание.

и ведь как забрало меня. Да так, что вот если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был... Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать! Пстой же ты, думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду!

Вот и думаю себе: начну-ка я его теперь к работе какой приучать, да не вдруг; пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, поищу, к чему бы такому, Емеля, способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И стал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу: отчаянный ты человек, Емельянушка! Начал я, сударь, сперва с доброго слова: так и сяк, говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел да как-нибудь там пооправился. Полно гулять! Смотри-ка, в отрепье весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится; нехорошо! Пора бы, кажется, честь знать.

Сидит, слушает меня понуря голову мой Емельянушка. Чего, сударь! Уж до того дошел, что язык пропил, слова путного сказать не умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откликается! слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет.

– Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич?

– Да так-с, ничего, Астафий Иванович, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иванович, подрались на улице, одна у другой лукошко с клюквой невзначай рассыпала.

– Ну, так что ж?

– А другая за то ей нарочно ее же лукошко с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала.

– Ну, так что ж, Емельян Ильич?

– Да ничего-с, Астафий Иванович, я только так.

«Ничего-с, только так. Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял ты головушку!...»

– А то барин ассигнацию³ обронил на панели в Гороховой, то бишь в Садовой. А мужик увидел, говорит: мое счастье; а тут другой увидел, говорит: нет, мое счастье! Я прежде твоего увидел...

– Ну, Емельян Ильич.

– И задрались мужики, Астафий Иванович. А городской подошел, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить.

– Ну, так что ж? что же тут такого назидательного есть, Емельянушка?

– Да я ничего-с. Народ смеялся, Астафий Иванович.

– Э-эх, Емельянушка! что народ! Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу-то тебе?

– Чего-с, Астафий Иванович?

– Возьми-ка работу какую-нибудь, право, возьми. В сотый говорю, возьми, пожалей себя!

– Что же мне взять такое, Астафий Иванович? я уж и не знаю, что я такое возьму; и меня-то никто не возьмет, Астафий Иванович.

– За то ж тебя и из службы изгнали, Емеля, пьющий ты человек!

– А то вот Власа-буфетчика в контору позвали сегодня, Астафий Иванович.

– Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка?

– А вот уж и не знаю зачем, Астафий Иванович. Значит, уж оно там нужно так было, так и потребовали...

«Э-эх! думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка! За грехи наши нас господь накажет!» Ну, что с таким человеком делать прикажете, сударь!

³ Ассигнация— бумажные деньги, стоимость которых в то время была ниже, чем стоимость серебряной (или золотой) монеты того же достоинства.

Только хитрый был парень, куды! Слушал он, слушал меня, да потом, зная, ему надоело, чуть увидит, что я осерчал, возьмет шинелишку да и улизнет – поминай как звали! день прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина виновата!..

– Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы! Полно пить, слышишь ты, полно! Другой раз, коли пьяный воротишься, на лестнице будешь у меня ночевать. Не пушу!..

Выслушав наказ, сидит мой Емеля день, другой; на третий опять улизнул. Жду-пожду, не приходит! Уж я, признаться сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что я сделал над ним? думаю. Запугал я его. Ну, куда он пошел теперь, горемыка? пропадет, пожалуй, господи бог мой! Ночь пришла, нейдет. Наутро вышел я в сени, смотрю, а он в сенях почивать изволит. На приступочку голову положил и лежит; окостенел от стужи совсем.

– Что ты, Емеля? Господь с тобой! Куда ты попал?

– Да вы, энтого, Астафий Иваныч, сердились наемдни, огорчаться изволили и обещались в сенях меня спать положить, так я, энтого, и не посмел войти, Астафий Иваныч, да и лег тут...

И злость и жалость взяли меня!

– Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь!..

– Да какую ж бы другую должность, Астафий Иваныч?

– Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю (зло меня такое взяло!), хоть бы ты портняжному-то искусству повиучился. Ишь у тебя шинель-то какая! Мало что в дырках, так ты лестницу ею метешь! взял бы хоть иголку да дырья-то свои законопатил, как честь велит. Э-эх, пьяный ты человек!

Что ж, сударь! и взял он иглу; ведь я ему на смех сказал, а он оробел да и возьми. Скинул шинелишку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него; ну, дело известное, глаза нагноились, покраснели; руки трепещут, хоть ты што! совал, совал – не вдевается нитка; уж он как примигивался: и помусолит-то, и посучит в руках – нет! бросил, смотрит на меня...

– Ну, Емеля, одолжил ты меня! было б при людях, так голову срезал бы! Да ведь я тебе, простому такому человеку, на смех, в укору сказал... Уж ступай, бог с тобой, от греха! сиди так, да срамного дела не делай, по лестницам не ночуй, меня не срами!..

– Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гоюсь!.. Только вас, моего бла... благодетеля, в сердце ввожу понапрасну...

Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бородачке небритой, да как зальется, прыснет вдруг целой пригоршней слез мой Емельян... Батюшки! словно ножом мне полоснуло по сердцу.

«Эх, ты, чувствительный человек, совсем и не думал я! Кто бы знал, кто гадал про то?.. Нет, думаю, Емеля, Отступлюсь от тебя совсем; пропадай как ветошка!..»

Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать! Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит, то есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите, а я-то бы много дал, если б у меня много было, чтоб только всего того не случилось! Были у меня, сударь, рейтузы, прах их возьми, хорошие, славные рейтузы, синие с клетками, а заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит: узки; так они у меня на руках и остались. Думаю: ценная вещь! в Толкучем целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским господам выгадаю, да еще хвостик мне на жилетку останется. Оно бедному человеку, нашему брату, знаете, всё хорошо! А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю: день не пьет, другой не пьет, третий – хмельного в рот не берет, осовел совсем, видно жалко, сидит подгорюнившись. Ну, думаю: али куплева,⁴ парень, нет у тебя, аль уж ты сам на путь божий вошел да баста сказал,

⁴ Куплево (простореч.) – деньги.

резону послушался. Вот, сударь, так это всё и было; а на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всенощной; прихожу – сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. Э-ге! думаю, так-то ты, парень! да и пошел зачем-то в сундук. Глядь! а рейтуз-то и нету!.. Я туда и сюда: сгинули! Ну, как перерыл я всё, вижу, что нет, – так меня по сердцу как будто скребнуло! Бросился и к старушонке, сначала ее поклепал, согрешил, а на Емелю, хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не было! «Нет, говорит моя старушонка, господь с тобой, кавалер, на что мне рейтузы, носить, что ли, стать? у меня у самой намеренна юбка на добром человеке из вашего брата пропала... Ну, то есть, не знаю, не ведаю, говорит». – «Кто здесь был, говорю, кто приходил?» – «Да никто, говорит, кавалер, не приходил; я все здесь была. Емельян Ильич выходил, да потом и пришел; вон сидит! Его допроси». – «Не брал ли, Емеля, говорю, по какой-нибудь надобности, рейтуз моих новых, помнишь, еще на помещика строили?» – «Нет, говорит, Астафий Иванович, я, то есть, этого, их не брал-с».

Что за оказия! опять искать начал, искал-искал – нет! А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним, над сундуком, на корточках, да вдруг и наклонился на него глазом... Эх-ма! думаю: да так вот у меня загло сердце в груди; даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня.

– Нет, говорит, Астафий Иванович, я рейтуз-то ваших, этого... вы, может, думаете, что, того, а я их не брал-с.

– Да куда же бы пропасть им, Емельян Ильич?

– Нет, говорит, Астафий Иванович, не видал совсем.

– Что же, Емельян Ильич, знать, уж они, как там ни есть, взяли да сами пропали?

– Может, что и сами пропали, Астафий Иванович.

Я как выслушал его, как был – встал, подошел к окну, засветил светильню да и сел работу тачать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почувал, знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чувствует беду, словно перед грозой птица небесная.

– А вот, Астафий Иванович, – начал Емелюшка (а у самого дрожит голосенок), – сегодня Антип Прохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер намеренна, женился...

Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно, знать, поглядел... Понял Емеля. Вижу: встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду – долго возится, а сам все приговаривает: «Нет как нет, куда бы им, шельмам, сгинуть!» Жду, что будет; вижу, полез Емеля под кровать на корточках. Я и не вытерпел.

– Чего вы, говорю, Емельян Ильич, на корточках-то ползаете?

– А вот нет ли рейтуз, Астафий Иванович. Посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь.

– Да что вам, сударь, говорю (с досады величать его начал), что вам, сударь, за бедного, простого человека, как я, заступаться; коленки-то попусту ерзать!

– Да что ж, Астафий Иванович, я ничего-с... Оно, может, как-нибудь и найдутся, как поискать.

– Гм... говорю; послушай-ка, Емельян Ильич!

– Что, говорит, Астафий Иванович?

– Да не ты ли, говорю, их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил? – То есть вот как, сударь, меня разобрало тем, что он на коленках передо мной начал по полу ерзать.

– Нет-с... Астафий Иванович...

А сам, как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал; потом выполз. Смотрю: бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на окно, этак минут с десять сидел.

– Нет, говорит, Астафий Иванович, – да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный как грех.

– Нет, говорит, Астафий Иванович, я ваших рейтуз, того, не изволил брать...

Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну.

– Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коли я, глупый человек, вас попрекнул понапраслиной. А рейтузы пусть их, знать, пропадают; не пропадем без рейтуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем... и побираться у чужого бедного человека не будем; заработаем хлеба...

Выслушал меня Емеля, постоял-постоял предо мной, смотрю – сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся; уж я и ко сну отошел, всё на том же месте Емеля сидит. Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке; унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю: Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недели с две без просыпу пьет. То есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услышал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, знать, всё пропил и сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток; вдруг, смотрю: плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как! то есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с беды-грусти плакать начнет.

– Что ты, Емеля? – говорю.

И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил.

– Ничего... Астафий Иванович.

– Господь с тобой, Емеля, пусть его все пропадет. Чего ты такой совой сидишь? – Жалко мне стало его.

– Так-с, Астафий Иванович, я не того-с. Работу какую-нибудь хочу взять, Астафий Иванович.

– Какую же бы такую работу, Емельян Ильич?

– Так, какую-нибудь-с. Может, должность какую найду-с, как и прежде; я уж ходил просить к Федосею Ивановичу... Нехорошо мне вас обижать-с, Астафий Иванович. Я, Астафий Иванович, как, может быть, должность-то найду, так вам всё отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю.

– Полно, Емеля, полно; ну, был грех такой, ну – и прошел! Прах его побери! Давай жить по-старому.

– Нет-с, Астафий Иванович, вы, может быть, всё, того... а я ваших рейтуз не изволил брать...

– Ну, как хочешь; господь с тобой, Емельянушка!

– Нет-с, Астафий Иванович. Я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Астафий Иванович.

– Да господь с тобой, говорю: кто тебя, Емельян Ильич, обижает, с двора гонит, я, что ли?

– Нет-с, неприлично мне так жить у вас, Астафий Иванович... Я лучше уж пойду-с...

То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него, и вправду встал, тащит на плеча шинелишку.

– Да куда ж ты, этово, Емельян Ильич? послушай ума-разума: что ты? куда ты пойдешь?

– Нет, уж вы прощайте, Астафий Иванович, уж не держите меня (сам опять хнычет); я уж пойду от греха, Астафий Иванович. Вы уж не такие стали теперь.

– Да какой не такой? такой! Да ты как дитя малое, неразумное, пропадешь один, Емельян Ильич.

– Нет, Астафий Иванович, вы вот, как уходите, сундук теперь запираете, а я, Астафий Иванович, вижу и плачу... Нет, уж вы лучше пустите меня, Астафий Иванович, и простите мне всё, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанес.

Что ж, сударь? и ушел человек. День жду, вот, думаю, воротится к вечеру – нет! Другой день нет, третий – нет. Испугался я, тоска меня ворочает; не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек! Пошел я на четвертый день ходить, во все кабачки заглядывал, спрашивал – нет, пропал Емельянушка! «Уж сносил ли ты свою голову победную? – думаю. – Может, издох где у забора пьяненький и теперь, как бревно гнилое, лежишь». Ни жив ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклиная, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю: чем свет, на пятый день (праздник был), скрипит дверь. Вижу: входит Емеля: синий такой и волосы все в грязи, словно спал на улице, исхудал весь, как лучина; снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит; случись, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей, как собака, издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. «Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я б и сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты?»

– Кушал-с, Астафий Иванович.

– Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось; на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю: оно на здоровье не лишнее.

Подал я ему; ну, тут и увидел, что, может, три дня целых не ел человек, – такой аппетит оказался. Это, значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я, на него глядя, сердечного. Сем-ка, я думаю, в штофную сбегая. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно! Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принес винца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? оно здорово.

Протянул было он руку, этак жадно протянул, уж взял было, да и остановился; подождал маленько; смотрю: взял, несет ко рту, плескает у него винцо на рукав. Нет, донес ко рту, да тотчас и поставил на стол.

– Что ж, Емельянушка?

– Да нет; я, того... Астафий Иванович.

– Не выпьешь, что ли?

– Да я, Астафий Иванович, так уж... не буду больше пить, Астафий Иванович.

– Что ж, ты совсем перестать собрался, Емелюшка, или только сегодня не будешь?

Промолчал. Смотрю: через минуту положил на руку голову.

– Что ты, уж не заболел ли, Емеля?

– Да так, нездоровится, Астафий Иванович.

Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горит, а самого трясет лихорадкой. Посидел я день над ним; к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлеба подсыпал. Ну, говорю: тюри покушай, авось будет лучше! Мотает головой. «Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иванович». Чаю ему приготовил, старушончку замотал совсем, – нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Еще прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомился; лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. «Да нет, говорит, оно плохо. Нечего было, говорит, и посылать за мной. А пожалуй, дать ему порошков». Ну, порошков-то я не дал; так думаю, балуется медик; а между тем наступил пятый день.

Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушонка печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем, забулдыге, разрывается; точно это я сына родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, еще с утра видел,

что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец взглянул на него; вижу: тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился.

– Астафий Иваныч!

– Что, Емелюшка?

– А вот если б, примером, мою шинеленочку в Толкучий снести, так много ль за нее дали бы, Астафий Иваныч?

– Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевый бы дали, Емельян Ильич.

А поди-ка понеси в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку божию, зная норы его простоватый, в утеху сказал.

– А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы; она вещь суконная, Астафий Иваныч. Как же трехрублевый, коли суконная вещь?

– Не знаю, говорю, Емельян Ильич; коль нести хочешь, так, конечно, три рубля нужно буде с первого слова просить.

Помолчал немного Емеля; потом опять окликает:

– Астафий Иваныч!

– Что, спрашиваю, Емельянушка?

– Вы продайте шинеленочку-то, как я помру, а меня в ней не хороните. Я и так полежу; а она вещь ценная; вам пригодиться может.

Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Этак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова: все на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился.

– Не хотите ли, говорю, водицы испить, Емельян Ильич?

– Дайте, господь с вами, Астафий Иваныч.

Подал я ему испить. Отпил.

– Благодарствую, говорит, Астафий Иваныч.

– Не надо ль еще чего, Емельянушка?

– Нет, Астафий Иваныч; ничего не надо; а я, того...

– Что?

– Эного...

– Чего такого, Емелюшка?

– Рейтузы-то... эного... это я их взял у вас тогда... Астафий Иваныч...

– Ну, господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром...

А у самого, сударь, дух захватило и слезы из глаз посыпались; отвернулся было я на минуту.

– Астафий Иваныч...

Смотрю: хочет Емеля мне что-то сказать; сам приподнимается, силится, губами шевелит... Весь вдруг покраснел, смотрит на меня... Вдруг вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновение; голову назад закинул,дохнул раз да тут и богу душу отдал.